

Рано утром.

Рано выходить утром. Наступать соннослышно на пути автобусом ещё не прочерченные и взглядом не снятые. Неразбуженный мир всегда как в первый раз.

Заново: свет, рассеянный в звуке, мелким песком вздохнуть. Подарить ему на пальцах принесенные синие оконные рамы, синие крыши, синие ворота и синий ветер под вечер прятать в складки потеплевшей кофты.

Знать, по чьим путям возвращаться.

Обратно первое сентября наступит, как только выгладится фартук, и галстук выглажен будет. И сентябрь посмотрит в окно рано и решит выходить утром. В вещах спрятан, в манжетах, в стуле сером у стены. Я узнаю тебя сменной цвета галстука в линии пыли, рассыпанной солнцем. Сонная, закрывает кружевам выбившиеся нитки – ресницы- глаза. С каждым маминим стежком пришивались календарю новые дни. Вычистятся туфли – наступит твой сентябрь. Новое завязывается само, галстук заплетает пальцами восход. Если босиком по холодному полу -

Подвешат на прищепки дома за окном – значит есть нить.

Лето втягивается гулко в под Кировский мост. Оттуда пришло только же ведь. И по календарю ново придёт. В полураскрытых глазах пруда лето отмокает. Из под Кировского в ярмарочном пруду. Не умею нырять: «Как нырять?». «А ты нос зажми и садись под воду, видишь». Нос открыть, глаза открыть, встать. Мутно и темно. Разве это – вода? Пашка вытянул.

Лето поизносилось, в осень опаздывать нельзя. Сентябрь сам не поймёт, что наступил.

Автобус летом плавленных шин приедет, потому что есть кому ждать. Сослось утро, замаралось окнами автобуса. Желтый выпил худых ниток, фотогра-

фия на полпути проявления в сепию. На память. Дома в горизонт плетут веревку.

Картина написана неподвижно, краски не растекутся как в альбоме школьном от кочек кировских улиц. До линейки ещё в Церковь с мамой идти – оглядываться на дома, просевшие кривыми зубами в глиняные грунты дёсен реки; висят прищепками на бельевой растяжки линии, которую прежде всех черти. Сиденье в автобусе пыльно – они первые едут в сентябрь. Пыль обесцвеченно запечёт поры дня: оставит дрожание утра. Запах рыбной охры, высушенного, подернутого углём камыша, шершавости, ожидания пыльного и резины пыльной, утра синего, синего цвета ещё не забывшего – разом.

«Церковь» по-маминому, звуками её голоса куполов осторожная тишина. Звенит.

До школы на одном автобусе не доедешь. «У попа была собака, он её убил». Она съела кусок мяса, он её убил». «Он её любил». «В Церковь ходят ты да дед Яковенко». «Тыдадед, тыдадед»,- говорит папа; говорит маме. У деда Яковенко обе ноги хромые. Шаги его обвязываются встречно. Так и идём. Мыдадедяковенко со всей Кирова. Он столетний дед. Ноги изхоромил, а ходит дед. Я знаю на слух «Цэрькоффь», но не помню на зрение. А как хорошо, наверное, дедояковенковские глаза знают. За сто-то лет. Или лет сто. Кто научил его ходить?

Церковь на карте близко, как у ограды школьной, но на одном автобусе все равно не доедешь. Мама из лавки домой возвращается – тогда пахнет светло, как всегда пахло.

Зачем рассказывает, что работает там? Приходит пораньше. «Была собака». «Она съела кусок мяса...». «Конечная!». С остановки спускаешься – за спиной кладбище, оборачиваться надо – разглядеть, как тощие ветки тропинок ткутся в даль, к берегу сухому, там же и морю. И это место не отличается от

других. Огорожено набело толстой стеной, как дома у нас тоже сцеплены стены. Улица Октябрьская, по ней только тридцать раз в год ходи.

Церковь соскальзывает по дороге, и если отнять дорогу, то нависнет обрывом. Ограды узорливо прорезают листву, двор и скамейки; людей проходящих красят в смолисто-масляный цвет. Утро изнылось холодком ожидания. В Храмходишь в первый раз и ни в какой. Съёживается голос, и не понятно, какое испытывать чувство. Наверное, которого никогда нет, которое и по предчувствию не успеешь сделать своим. Полон опозданием ветер звона. А что дед Яковенко? Пёс его издох у калитки самой.

Улицы воды кадильной, полыни, касание запаха – святым. Не знаешь, что это Мама говорит «святым», и голос её никогда не бывает таким «свечным». Дыхание, когда крестишься, смиряется выйти. Холодок внутренний отползает под школьный козырёк.

Прозрачно-тихо. Меняется в шаге угол купола. Перекрестись: три пальца в жменьку: во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Звучит как одно всегда.

- Галстук! Забыла! Сымай!

Галстук есть не свечной - ни цвета, ни воздуха.

- Может не будем, мам? Он же по помнётся.

- Не помнётся. На сумку сверху положу, и не помнётся.

В тени деревьев крутилась линейка; школьная, ровная, часовой стрелкой очерчивала круг. На Пасху коршуны – учительницы вылепляли глазом, засечки вырубали : кто на кладбище пришёл. Мы с мамой ходили. Из Церкви за это не выгонят. На пяточок нельзя и можно: и другие без галстуков. Шея оголилась утру, но в Церкви цветом скрывается белесое, бывшее здесь, недостающее. Пряничный запах свечек, хруст размокающего света и страха мрачная соль внизу живота. На весь свой рост меньше станешь, сколько его ни в тебе, когда

запоют. Нужно много глаз – вместить, чем дышим. Вдруг мы надышали всё, что видимо сейчас – и не видим боговой лесенки.

Серёжа говорил : «Где у Бога лесенка?». В Храме у Бога лесенка, Серёжа. Взберутся люди на плечи друг другу и будет лесенка, Серёжа.

Посмотреть вокруг - «чтобы не узнали?». Почему и они вниз глаза? А как объяснить потом, что ходили к попу, что ходили к царю. Царь голодом убил, людей заморил, поп убил собаку. Они с мамой, да дед Яковенко со всей улицы. «У попа была собака». «Она съела – он убил». Это же святое, почему лезет в голову? Поют снова, поют – как лампочки зажглись.

Зачем бы мама в Церковь пришла, если бы такой поп был ? Мама бы никогда не убила собаку. «Бог – это все»,- говорила мама- «он везде».

Почему тогда лесенки нет? Дурацкой лесенки нет. Серёжа спрашивает, где лесенка. И я спрашиваю, где лесенка. Почему Бог везде, почему тогда... И в лесенке – везде? Да мне хотя бы лесенку, чтобы я Серёже : «На, смотри, вот лесенка, пойдём с нами».

Тогда и в галстук – Бог? А почему снять? Где – везде Он ?

То и вода. Вся мокрая челка, для учебы хорошей. Из Церкви через ограду не разберёшь улицы, в лохмотьях, в чёрных кусочках.

Помялся.

Кололся галстук. Измяла его ограда и отпечаталась таким же точно узором; кадильный запах выдавал сразу. Кто узнает, что пионер снял галстук, и в галстук в Церковь нельзя?

Теснее к шее, не приглаживал уже, не обнимал. Церковь далеко, и ехать долго. Автобус мутные окна привёз, и Солнце стирает линию горизонта – так что смотришь, и не знаешь, где он.